

С. А. Фомичев

ПУШКИНСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА


ЗНАК
Москва
2007

ПУШКИН И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В пушкинское время многие важнейшие памятники древнерусской литературы оказались забытыми, да и собственно древнерусская литература в эстетическом сознании еще недостаточно отчетливо дифференцировалась с фольклором, лубочной литературой, историческими и юридическими памятниками, с различными явлениями быта (в частности, с церковной обрядностью).

Определенные шоры в восприятии древнерусской культуры накладывала и просветительская идеология. Здесь надо иметь в виду и характерную для просветительства недооценку Средневековья, а главное, то обстоятельство, что для передовой просветительской мысли в России начала XIX века наиболее актуальным стало прогрессивное размежевание старой и новой культур, с особой силой обозначенное реформами Петра I.

Однако литература Древней Руси была постоянно в поле зрения Пушкина уже потому, что многие его произведения посвящены русскому Средневековью: поэмы «Руслан и Людмила», «Мстислав», «Вадим», драмы «Борис Годунов» и «Русалка», стихотворения «Песни о Стеньке Разине», «Песнь о вещем Олеге», «Какая ночь! Мороз трескучий...», «Олегов щит», «Моя родословная».

Живое восприятие памятников древнерусской литературы прослеживается в самом языке Пушкина. Так, строки из «Воспоминаний в Царском Селе» (1814): «Ширяся крылами, / Над ним сидит орел молодой» — это довольно распространенный в русской литературе поэтизм, Пушкиным, наверно, почерпнутый из Державина. Но по своему

происхождению этот фразеологизм восходит к «Слову о полку Игореве»¹.

«Строчка из послания “К Чаадаеву” 1818 г. (“Напишут наши имена”», — заметил В. В. Иванов, — представляет собою явно перифраз двух мест из “Повести временных лет”: “да испишють имена их” (907 г., договор Олега с греками); “да испишеть имена ваша” (944 г.)»².

Заканчивая свой роман в стихах, Пушкин скажет:

... Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина {...} (VI, 190).

Метафора «праздник жизни», как давно замечено, — калька знаменитой строчки из «Оды IX» Н. Жильбера «au banquet de la vie»³, которую Пушкин употребил ранее в одном из лицейских посланий: «Мне кажется: на жизненном пиру / Один с тоской явлюсь я...»⁴. Однако позже на поэтическое использование этой метафоры лег отсвет оды А. Шенье «Молодая узница»:

Au banquet de la vie à peine commencé
Un instant seulement mes lèvres ont pressé
La coupe en mes mains encor pleine.⁵

Отметим, однако, и еще одну текстовую параллель к онегинским строкам: «От сего житья добро изити, яко на пиру:

¹ Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980. С. 121.

² Иванов В. В. Откуда черпал образы Пушкин — футуролог и историк? // Новые безделки: Сб. ст. к 60-летию В. Э. Вацура. М., 1995—1996. С. 415.

³ Французская элегия XVIII—XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры. М., 1989. С. 609.

⁴ Пушкин А. С. Лицейские стихотворения. 1813—1817. СПб., 1999. С. 286.

⁵ «На празднике жизни, едва начавшемся, всего на одно мгновение мои губы прижались к кубку, все еще полному в моих руках»

ни жаждуща, ни упившись добре»⁶. Держал ли Пушкин в памяти эту апофегму или невольно попал ей в тон — в любом случае это совпадение знаменательно.

Еще предстоит обследовать отклики Пушкина на памятники древнерусской словесности, которые издавна были в сфере его интересов.

1

В 1822 году в историческом вступлении к автобиографическим запискам Пушкин скажет:

По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, всё еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения (XI, 14).

Широкий историко-социологический масштаб вступления не позволяет писателю специально останавливаться на литературном процессе, но этот процесс он несомненно осмысляет в русле движения всей культуры. Чрезвычайно важно отметить здесь принципиальное пушкинское суждение относительно народного просвещения (противопоставленного современному, утверждавшемуся на европейских началах):

(*фр.*). По поводу этих строк В. В. Набоков замечает, что они «приходят на ум» в связи с итоговой строфой романа (*Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».* СПб., 1998. С. 599).

⁶ Пчела // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981. С. 516.

Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. (...) В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. (...) Мы обязаны монахам нашей Истории, следственно и просвещением. Екатерина знала всё это, и имела свои виды (XI, 16—17).

Тезис этот будет развит в 1825 году в пушкинском отклике на предисловие французского критика Лемонте к переводу басен Крылова:

Как материал словесности, язык славяно-русской имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заимлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отдделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, *и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей.*

Г. Лемонте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. (...) Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования (XI, 31—32).

Забегая вперед, отметим одну любопытную выписку Пушкина, сделанную в 1836 году из «Изборника Святослава», которая показывает, насколько отчетливо понимал Пушкин постепенно преодолеваемую трудность выработки (под влиянием древнегреческих гибкости и правиль-

ности) древнерусского литературного языка. Приведа по «Изборнику» перечень тропов и фигур (общим числом 25: «инословие», «превод» (метафора), «непотребие», «приятие» и пр.) и данное здесь определение первого из них, Пушкин замечает:

Далее следуют подобные сему определения и прочих вышеисчисленных наименований, но не довольно понятные для читателя, может быть, и потому, что не довольно понимаемы были предметы составителем или переводчиком, издателями русской энциклопедии XI века (XII, 44).

С другой стороны, следует правильно оценить часто цитируемое пушкинское замечание, высказанное им в 1830 году:

Разговорный язык простого народа (не читающего иностр. ^(анных) книг и, слава богу, не выражающ^(его), как мы, своих мыслей на фр. ^(анцузском) языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвириям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком (XI, 148–149).

Случайно ли здесь упоминаются торговки просвирами, отчасти приобщенные к среде духовенства простолюдинки? Думается, что не случайно: это своеобразная иллюстрация процитированного выше пушкинского тезиса: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и *такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей*».

Точность пушкинских определений необходимо соблюдать и в данной, подчеркнутой самим поэтом сентенции: современный ему народный язык (чистый и правильный), давно уже органически усвоивший огромный пласт древней культуры, он считает лишь стихией, требовавшей от писателя Нового времени сознательных и немалых усилий для выражения новых идей.

В этом, конечно же, полемически заостренном пушкинском высказывании открывается другая сторона вопроса,

наиболее для Пушкина в 1820-е годы актуальная, связанная с осознанной необходимостью, оставаясь русским писателем, «в просвещении стать с веком наравне».

Но идеи европейского просвещения проверялись в творчестве Пушкина нравственным опытом народа, в художественной форме запечатлевшимся прежде всего в фольклоре, как это осознавалось Пушкиным в ту пору. Показательно, однако, что нравственное начало, а не только приметы национально-самобытного исторического колорита Пушкин ищет и в летописях, работая над трагедией «Борис Годунов». Именно потому важнейшую роль в идейной концепции пьесы занимает на первый взгляд эпизодический персонаж — летописец Пимен. «Характер Пимена, — замечал Пушкин, — не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях...» (XI, 68).

Первый пушкинский план статьи о русской литературе относится к 1829 году:

Летописи, сказки, песни, пословицы. Послания царские. Песнь о плку, Побойце Мамаево. Царствование Петра. Царств.〈ование〉 *Елисаветы*, Екатерины — Александра. Влияние французской поэзии (XII, 208).

В черновом наброске статьи 1830 года Пушкин скажет:

Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники, сравнить их с этою бездной поэм, романсов, ироических и любовных, простодушных и сатирических, коими наводнены европейские литерат.〈уры〉 средних веков. / Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, творческого духа, сравнить влияние завоевания скандинавов с завоеванием мавров. 〈...〉 Но, к сожалению — старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь — и на ней возвышается единственный памятник: *Песнь о Полку Иг.〈ореве〉*. / Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной (XI, 184).

В статье 1834 года, также не законченной, но имеющей характерное название «О ничтожестве литературы русской», представление об уникальности «Слова» для древнего периода русской словесности не изменилось:

Европа наводнена была невероятным множеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий и проч.; но старинные наши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не представляют почти никакой пищи любопытству изыскателей. Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и *Слово о Полку Игореве* возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности (XI, 268).

В черновых вариантах этой статьи сохранилось объяснение причин «ничтожества русской литературы»:

Петр Первый был нетерпелив. Став главою *новых идей*, он, м.〈ожет〉б.〈ыть〉, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства. В общем презрении ко всему старому народному 〈была〉 включена и народная поэзия, столь живо проявившаяся в грустных песнях, в сказках (нелепых) и в летописях. / Рождалась новая словесность, отголосок новообразованного общества (XI, 501).

Впрочем, более подробно обозрение начального периода русской литературы намечено Пушкиным в том же году в виде плана:

Язык. Влияние греческ.〈ое〉/ Памятники его / Литература собств.〈енно〉

Причины 1) ее бедности

2) ее отчуждения от Европы

3) уничтожения или ничтожности влияния скандинавского

Сказки, пословицы: доказательство сближения с Европою.

Песнь о Плку Игор.〈еве〉

Песнь о побоище Мамаевом.

Сказки, мистерии

Песни (XII, 208).

Отчасти пункты этого плана проясняются приведенными выше пушкинскими высказываниями более ранних годов. Отметим еще пушкинские соображения из его отклика на «Историю русского народа» Н. А. Полевого, объясняющие во многом тезис о «бедности русской литературы»:

Гизо объяснил одно из событий христианской истории: *европейское просвещение*. Он обретает его зародыш, описывает постепенное развитие и, отклоня всё отдаленное, всё постороннее, *случайное*, доводит его до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и наконец (?) *рассветающие* века. Вы поняли великое достоинство фр. (анцузского) историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада (XI, 127).

В данном случае выражение «никогда ничего не имела» подразумевает древний период русской истории, которому были посвящены обозреваемые тома «Истории» Полевого. Что же касается пушкинской «особой формулы» русской истории, то она была отчетливо намечена в знаменитом письме к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года, в отклике на пессимистическую оценку русской истории, изложенную в «Философическом письме»:

Нет сомнения что Схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. (...) У греков мы взяли евангелие и предания, но не

дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. (...) Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! (...) и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительно в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? (XVI, 392–393; подлинник по-фр.).

Таковы основные наброски пушкинской концепции древнерусской литературы, ее своеобразия и относительной бедности. Концепция эта никогда не была изложена им в полном виде, дошла до нас в виде фрагментарных и полемически заостренных суждений, а также едва намеченных (крайне общих) планов. Однако незаконченность пушкинских размышлений — это знак его собственной неудовлетворенности ими, а стало быть, невыработанности окончательных решений. И главное, теоретические пушкинские выкладки ни в коей мере не отражали богатейшей творческой практики Пушкина, которая впитывала влияние древнерусской литературы в гораздо более разнообразных формах и в большем объеме, нежели это запечатлено в его историко-литературных размышлениях.

2

Остановимся на одном из таких фактов. Постоянно возрождавшимся в пушкинском творчестве замыслом (по количеству одновременных попыток не сравнимым ни с

одним другим) стал замысел «богатырской поэмы» на темы сказки о Бове-королевиче, известной ему с самого раннего детства, как это отражено в лицейском стихотворении (отрывке из поэмы?) «Сон» (1816):

Ах! умолчу ль о мамушке моей,
 О прелести таинственных ночей,
 Когда в чепце, в старинном одеянье,
 Она, духов молитвой уклоня,
 С усердием перекрестит меня
 И шепотом рассказывать мне станет
 О мертвецах, о подвигах Бовы...
 Терялся я в порыве сладких дум;
 В глуши лесной, средь муромских пустыней
 Встречал лихих Полканов и Добрыней,
 И в вымыслах носился юный ум... (I, 189)⁷.

Впервые к этому сюжету Пушкин обратился еще в 1814 году, и тогда данный замысел был одной из первых попыток юного поэта перейти от малых стихотворных форм к жанру поэмы, продолжив традиции Радищева («Бова»), с его ориентацией на вольтеровскую «Орлеанскую девственницу», с одной стороны, и Карамзина — с другой («Илья Муромец»). Тем самым Пушкин отклик-

⁷ «Все перечисленные здесь персонажи детских “ужасов” и “вымыслов”, — констатирует В. А. Кошелев, — герои “Сказки о славном и сильном богатыре Бове-королевиче и о прекрасной королевне Дружневне и о смерти отца его Гвидона”. Именно здесь, в многочисленных рукописных, печатных и устных вариантах лубочной повести, встречаются и Бова, и “нехорошее мертвецкое баловство”, и Полкан (получеловек-полуконь), и Добрыня (так в некоторых вариантах именовался слуга Бовы: “Верный Личарда”)» (Кошелев В. А. Бова Королевич // Кошелев В. А. Пушкин: история и предание. СПб., 2000. С. 110). По предположению В. Я. Проппа, здесь отражены сюжеты, распространенные в лубочной литературе (см.: Пропп В. Я. Мотивы лубочных повестей в стихотворении А. С. Пушкина «Сон» 1816 г. // Тр. отд. древнерусской литературы. Т. 14. М.; Л., 1958. С. 536–537).

нулся на зревшую в русской литературе начала XIX века задачу создания народно-поэтической эпопеи. Впоследствии он невысоко оценивал поэму Радищева:

Первая песнь *Бовы* имеет также достоинство. Характер *Бовы* обрисован оригинально, и разговор его с Каргою забавен. Жаль, что в *Бове* (...) нет и тени народности, необходимой в творениях такого рода; но Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал (XII, 35).

Это замечание в некоторой степени объясняет новое обращение Пушкина к сюжету о Бове в 1822 году, когда в его творчестве начинает проследиваться сознательное стремление к постижению народно-поэтической образности, существенно обогатившей его поэзию. Однако вскоре в русской печати появились сведения об иноземном происхождении сюжета о Бове. И. М. Снегирев в 1822 году заметит, что «многие из древних сказок, как, например, Еруслан, Бова, Петр Золотые Ключи, взяты с итальянского или арабского»⁸, а спустя два года повторит: «Еруслан Лазаревич, Бова-королевич, Петр Золотые Ключи — романы нашей черни — гости заезжие, у нас обрусевшие»⁹. Позднее Пушкин узнает о конкретном итальянском источнике сказки о Бове — о рыцарской поэме «Буово из Антоны», о которой он упоминает в письме к П. А. Вяземскому от 25 мая 1825 года (см. XIII, 184), и в рабочей тетради ПД № 832 делает конспект этой «самой древней из романтических поэм» по «Истории итальянской литературы» П. Л. Женгене:

Самой старой из романтических поэм является «Буово из Антоны», где говорится о больших битвах, в коих он

⁸ Снегирев И. Русская народная галерея, или лубочные картинки // Отечественные записки. 1822. № 30. С. 92–93.

⁹ Снегирев И. О простонародных изображениях // Труды общества любителей российской словесности при Московском университете. Ч. 4. 1824. С. 141.

участвовал, и деяниях, им совершенных, вместе с его смертью и проч. в рифмованных октавах. 1849. Венеция.

Герой ее — Бёв из Антоны, потомок Константина и прадед Милона Англандского, отца Роланда. Брандония, мать Бёва, заставляет Дюдона Майенцкого убить мужа ее, Гидона, герцога Антоны, и выходит за Дюдона замуж. Молодой Бёв бежит, руководимый Синнибальдом, мужем своей кормилицы, и сыном последнего — Тьерри. Она падает (с лошади), остальное как в русской сказке...¹⁰

Вслед за конспектом Пушкин в конце июня 1825 года набрасывает план нового своего замысла о Бове и делает набросок семи начальных строк поэмы¹¹.

Внимание Пушкина к сказке о Бове проявилось в различных его произведениях. В черновых набросках второй главы «Евгения Онегина» он вспоминает няню Ольги, Фадеевну, которая «Помилуй мя читать учила, / Гуляла с нею, средь ночей / Бову рассказывала (ей)» (VI, 288); в сне Татьяны пользуется лексикой народной сказки: «Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, / Людская молвь и конский топ!» (VI, 104); а позже, в возражениях на критику М. А. Дмитриева, пояснит эту строку: «Выражение сказочное (Бова Королевич)», заметив попутно: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели — чтоб видеть свойства русского языка» (XI, 72). В «Опровержениях на критики» (1830) и публикуя роман отдельным изданием 1833 года, в специальном примечании Пушкин вновь повторит:

В журналах осуждали слова: *хлоп*, *молвь* и *топ* как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ» (VI, 193).

¹⁰ Рукою Пушкина. 2-е изд. М., 1997. С. 459 (пер. с фр.).

¹¹ Обоснование такой датировки см. в ст.: Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина. ПД № 832 (Из текстологических наблюдений) // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 241.

В романе о царском арапе (1829) мы находим любопытное упоминание сказки о Бове, открывающее некоторое подобие злоключений героя с судьбой знаменитого предка поэта А. П. Ганнибала:

Он роду не простого, — сказал Гаврила Афанасьевич, — он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и ...

— Батюшка, Гаврила Афанасьевич, — прервала старушка, — слышали мы сказку про Бову Королевича да Ер. (услана) Лаз. (аревича). Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание (VIII, 25).

К концу 1820-х годов, по-видимому, относится разговор о «Бове» Пушкина с А. С. Хомяковым. Последний в 1857 году вспоминал:

Кстати о филологии: скажу слово о происхождении одной из сказок, ходящих в народной словесности. Когда Пушкин первый (если не ошибаюсь) сказал, что «Бова-Королевич» переведен с итальянского языка (что совершенно справедливо) и есть сказка итальянская, я встретился с ним и доказал ему, что хотя сказка перешла к нам из Италии, но в Италию перешла она из Англии, своей родины. Он хотел это напечатать, но, кажется, забыл; с тех пор не знаю, сказал ли кто-нибудь то же самое¹².

Последнее обращение Пушкина к сюжету о Бове относится к 1834 году, когда он на листке с планом «Капитан-

¹² Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1904. С. 40 (второй пагинации). За указание этого факта я благодарен В. Э. Вацуру. Что же касается английского происхождения поэмы о Буово, то, вероятно, это не было совершенной новостью для Пушкина. В конце конспекта из Женгене им отмечено: «Что такое Антона? Роман Реали ди Франчия помещает ее в Англии, близ Лондона, и говорит, что она была основана Бове, предком Бовы (это вероятно)» (Рукою Пушкина. С. 460).

ской дочки» набрасывает и план сказки о Бове, перечень действующих лиц и две строки:

Красным девицам в заба(ву)
Добрым молодцам на славу (XVII, 32).

Репутация сказки о Бове-королевиче как недостойного сюжета для высокой литературы была настолько сильной к концу XVIII века, что обращение Радищева к этому сюжету было своеобразным вызовом. Впрочем, столь же вызывающе в «Фелице» Бову упоминал Г. Р. Державин:

Полкана и Бову читаю,
За Библией, зевая, сплю¹³.

Едва ли не эти задорные строки вспомнит и переведет в высокий план Пушкин, когда в стихотворном обращении к Гнедичу (1832), характеризую «прямого поэта», скажет:

То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Во след Бовы иль Еруслана (III, 286).

И все же настойчивое обращение к сюжету о Бове-королевиче, на наш взгляд, в творчестве Пушкина имеет более важный смысл, чем просто вызов «изнеженным вкусам».

Пушкин в 1820-х годах рассматривал средневековую русскую культуру под знаком «отчуждения от Европы» и первые приметы европеизма русской литературы видел в двух жанрах («Сказки, пословицы: доказательство сближения с Европою»). Что касается пословиц, то следы прямого заимствования в них Пушкин отмечал неоднократно:

«Бодливой корове бог рог не дает» — пословица латинская; «Ворон ворону глаза не выклюнет» — шотландская пословица, приведенная В. Скоттом в Woodstock¹⁴.

¹³ Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 100.

¹⁴ Рукою Пушкина. С. 305.

Но почему он в этой связи упоминал и сказки?

Ответ на это мы находим в его выписке из Женгене, из которой следовало, что любимая им с детства сказка о Бове-королевиче, широко распространенная и в древней рукописной, и в лубочной, и в устной традиции, восходила, оказывается, к «самой древней из романтических поэм» «Буово д'Антоня».

Любопытно, что историческое чутье Пушкина в данном отношении проявляется особенно остро. В набросках к «Истории Петра» он замечал:

Просвещение развивается со времен Бориса (нравы дикие, свирепые); правительство впереди народа; любит иноземцев и печется о науках. Духовенство. Его критический дух (X, 291).

Пушкинский же план истории древнерусской литературы отчасти корректировал это слишком прямолинейное утверждение. В самом деле, современное обследование наиболее ранних записей сказки о Бове-королевиче в древнерусской книжности (о чем Пушкин знать не мог, но, как видим, догадывался) удостоверяет, что данный сюжет пришел на Русь в конце XVI — начале XVII века¹⁵ и был действительно одним из первых в ряду подобных (о Еруслане Лазаревиче, Петре Златые Ключи, Василии Златовласом и т. п.). Именно это «низовое» свидетельство «сближения с Европой» привлекало, на наш взгляд, пристальное внимание Пушкина к сказке о Бове-королевиче в зрелый период его творчества и порождало новые попытки литературно обработать данный сюжет. Необыкновенно примечательным было в нем и свидетельство секуляризации древнерусской литературы, до того развивавшейся только в среде просвещенного духовенства, и органическое усвоение народной культурой авантюрно-рыцарской повести — настолько, что язык ее в русской традиции стал образцовым.

¹⁵ См.: *Кузьмина В. Д.* Рыцарский роман на Руси. М., 1964. С. 17–24.

С точки зрения личной творческой биографии для Пушкина знакомство с историей данного сюжета тоже было знаменательным. Оказывается, уже в лицейскую пору (еще не предполагая сложной миграции сюжета) он интуитивно потянулся к нему, а позже заслужил репутацию первого русского поэта (победителя Жуковского), продолжив традиции авантюрно-рыцарского повествования в поэме «Руслан и Людмила» (во многом использовав здесь мотивы другой народной книги — об Еруслане Лазаревиче)¹⁶. Не случайно в 1822 году, уже найдя столь продуктивный впоследствии жанр своей «южной поэмы» в «Кавказском пленнике», Пушкин попытался, преодолевая байроновское влияние, снова обратиться к принципам авантюрно-рыцарского повествования в замысле поэмы о Мстиславе¹⁷. Нетрудно заметить, что, строя сюжет по той же схеме, Пушкин выдвигает в главные герои (в отличие от «Руслана и Людмилы») известного по летописям и упоминанию в «Слове о полку Игореве» («храбрый Мстислав, иже зареза Редедю пред полкы Касожьскими») легендарного тмутараканского князя, давая ему в соратники былинного Илью Муромца и рисуя жизнь (по позднейшему определению Пушкина), «полную кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов». Поэма о Мстиславе, подробно (с необычной для Пушкина тщательностью) разработанная в плане, тем не менее не была даже начата — может быть, потому, что в это время он познакомился с замечанием Снегирева в «Отечественных записках» об иноземном происхождении сказки о Бове-королевиче, что, вероятно, не позволило в ту пору поэту «реконструировать» рыцарскую поэму о реальном-историческом русском герое по образцу «Бовы».

Впоследствии же, как мы видели, сюжет о Бове стал интересовать Пушкина не в качестве образца, а сам по себе,

¹⁶ См.: Кошелев В. А. Первая книга Пушкина. Томск, 1997. С. 120–136.

¹⁷ См.: Кошелев В. А. О замысле Пушкина («Мстислав») // Русская литература. 2003. № 1. С. 86–97.

как принципиально важный в концепции Пушкина памятник старой русской книжности. Законченное произведение о Бове из-под пера Пушкина все же не появилось, дело ограничилось только планами и первыми стихотворными набросками. Однако нельзя не увидеть, что жанр сказки в творчестве Пушкина тяготеет именно к авантюрно-рыцарскому роману, а не к сказке в точном фольклорном значении. Оттуда идут привычные у Пушкина сказочные имена: Салтан, Гвидон, Елисей, Дадон. Становится понятным с такой точки зрения и свободное обращение Пушкина в «сказках» — при их образцовом народном языке и обильном использовании мотивов, почерпнутых именно в русском фольклоре, — к зарубежным сюжетам (из Гримма, из В. Ирвинга).

Определяя такую литературную генеалогию пушкинских «сказок», мы, разумеется, отнюдь не преуменьшаем их литературное значение. Ссылаемся в данном случае на мнение В. Я. Проппа:

Тесно связана со сказкой, но все же совершенно иной жанр представляет собой народная книга. (...) Народная книга была и у нас, хотя термин этот для русских материалов не привился. Со времен Пыпина установился термин «повесть». Выросшая на почве фольклора народная книга перерастает в буржуазную повесть и дает начало роману. Источники ее чрезвычайно разнообразны, как разнообразны и сами народные книги. Они часто представляют собой продукт международных фольклорных связей и влияний. Так, типичными народными книгами являются «Еруслан Лазаревич», «Бова Королевич», «Мелюзина», «Петр Золотые ключи» и др. Они сказочного происхождения, восточного и западного... Народные книги вырабатывали специфический для них язык, обладающий прекрасными литературными достоинствами, особый стиль, особые литературные приемы. (...) Народные книги были у нас чрезвычайно популярны. Отождествление народной книги со сказкой — методологическая ошибка. Но такой же методологической ошибкой будет и изучение народной книги вне сказки. Это смежные, родственные и пере-

крещивающиеся жанры, обладающие, однако, каждый своей внутренней спецификой, исторической судьбой и формой обращения¹⁸.

Вот здесь мы и подошли к существу дела. Правильное установление литературной традиции по отношению к «сказкам» Пушкина важно в методологическом отношении. Иначе возникает недоумение, характерное, например, для В. Г. Белинского:

Сказки Пушкина: «О царе Салтане», «О мертвой царевне и о семи богатырях», «О золотом петушке», «О купце Кузьме Остолопе и о работнике его Балде» были плодом довольно ложного стремления к народности. Народные сказки хороши и интересны так, как создала их фантазия народа, без перемен, украшений и переделок¹⁹.

Едва ли не хуже, чем эта, так сказать, добросовестная ошибочная оценка, иные методологически неверные попытки судить о поэтике сказок Пушкина впрямую по фольклорным образцам, без учета посредствующей роли здесь древнерусской книжности и народной книги, с сознательной ориентацией на которые и писал Пушкин свои «сказки».

3

Внимательное изучение пушкинского творчества показывает, что творческое использование им традиций древнерусской литературы было гораздо более богатым и разнообразным, нежели это можно было ожидать, обращаясь к его историко-литературным студиям, в которых «бедность» древней русской словесности отмечалась постоянно. Выясняется, что культура Древней Руси в художественной практике Пушкина была достаточно мощ-

¹⁸ *Протт В. Я.* Русская сказка. Л., 1984. С. 53–54.

¹⁹ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 7. М., 1955. С. 576.

ным фактором, оказывавшим свое влияние на родоначальника новой русской литературы.

Следует только с самого начала подчеркнуть, что, большой самобытный художник, Пушкин всегда обращался к опыту иных художественных систем творчески, решая насущные для себя идейно-эстетические задачи. Этот тезис мы ниже попытаемся подтвердить на примере обращения Пушкина к агиографическим жанрам.

В третьем томе пушкинского журнала «Современник» была напечатана рецензия на книгу Д. А. Эристов и М. Л. Яковлева «Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых» (СПб., 1836). Уместен вопрос, почему из нескольких десятков новых книг, список которых помещен в третьем томе, Пушкин счел необходимым отрецензировать только две, в том числе и «Словарь о святых». Думается, что актуальный публицистический смысл данного отклика Пушкина становится ясным в сопоставлении со второй рецензией, помещенной в том же томе: она была посвящена книге Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека», и главным здесь было воспоминание об итальянском карбонарии: «Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах, и, получа свободу, издал свои записки» (XII, 99). Третий том «Современника» готовился к изданию летом 1836 года, и Пушкин намеревался в нем хотя бы намеком (прямые упоминания были невозможны) отметить десятилетие со дня суда и казни декабристов. Тема гонимых и осужденных была намечена в подготовленных для этого журнального тома статье «Александр Радищев» и так называемом каменноостровском лирическом цикле. Убедившись в невозможности опубликовать их, Пушкин в последнем разделе выпуска («Новые книги») решил напомнить читателям о страдальцах. Так появилась, как нам представляется, рецензия на «Словарь о святых».

Важно, однако, и другое. Пушкинская рецензия обнаруживает его достаточно глубокие знания в русской агиографии. Показательная деталь: в рецензии упоминается «Опыт исторического словаря о всех в истинной право-

славной вере святою непорочною жизнью прославившихся святых мужах» как напечатанный Новиковым. Однако в титульных данных этой книги отсутствует указание на издателя. Пушкин же твердо знает его имя. Обнаруживается и то, что «Словарем» Эристова и Яковлева Пушкин пользовался еще в рукописи. В том же третьем томе «Современника» помещена антикритика на статью Броневского об «Истории Пугачевского бунта», где Пушкин, в частности, отмечает:

Положившись на показания рукописного Исторического словаря, составленного учеными и трудолюбивыми издателями Словаря о святых и угодниках, я поверил, что некрасовцы перешли с Кубани на Дунай во время походов графа Миниха (IX, 381).

Интерес к «Словарю» Эристова и Яковлева для Пушкина не случаен. На протяжении всей его жизни «Четьи Минеи» и «Пролог» были его постоянным чтением, еще с лицейских времен, когда он начал работать над поэмой «Монах», действие которой протекает в монастыре, основанном Саввой Звенигородским.²⁰

И впоследствии этот святой угодник интересовал Пушкина. В бумагах Пушкина сохранилась переложение («повновение», как выражались в старину) на русский язык текста из «Четьих Миней» Димитрия Ростовского (сделанное, вероятно, уже на рубеже 1820–1830-х годов) о преподобном Савве игумене:

Преподобный Отец наш Савва от юности своей Христа возлюбил и мир возненавидел и пришед к преподобному Сергию приял Ангельский образ и стал подвизаться угождая Богу постом бдением, молитвами, смиренномуд-

²⁰ «Ученик и собеседник св. Сергия, Савва пришел уединиться на живописных высотах Москвы-реки, и сын Донского Юрий упросил его основать обитель на Сторожевской горе, где стояла стража от набегов. Иноки заменили воинов...» (Муравьев А. Н. Путешествие по св. местам русским. Ч. 1. СПб., 1846. С. 171).

рием и всеми добродетельми желая небесная блага приять от Господа. Многие искушения претерпел он от бесов, но победил их с помощью вышняго и над страстями воцарился. Тогда по наставлению учителя своего великого Сергия, отошел он от обители святыя Троицы и поселился в пустыне на горе называемой Сторожи, в верху Москвы реки, в расстоянии одного поприща от Звенигорода в и сорока от града Москвы. Там святой иночествовал в безмолвии, терпя морозы и тяготу вара дневнаго. — Услыша о добродетельном житии его, многие иноки и люди мирские от различных мест начали к нему приходить, дабы жить при нем и от него пользоваться. <...> Честные его мощи и до нынешнего дня многия и различныя исцеления источают приходящим с верою...²¹

К житиям святых Пушкин всерьез обратился в связи с работой над трагедией из эпохи Смутного времени.

Из воспоминаний И. И. Пущина известно, например, что в январе 1825 года на рабочем столе Пушкина в Михайловском лежали «Четыи Минеи». 17 августа 1825 года Пушкин писал из Михайловского Жуковскому:

Одна просьба, моя прелесть, не лъзя ли мне доставить или жизнь *Железного Колтака*, или житие какого-нибудь *юродивого*. Я напрасно искал Василия Блаженного в Чет.<бих> М.<инях> — а мне бы очень нужно (XIII, 211–212).

Одним из основных, хотя и внесценических героев трагедии «Борис Годунов» предстает царевич Димитрий. О значении этого образа в художественной системе трагедии очень точно сказал И. Киреевский:

Тень умерщвленного Димитрия царствует в трагедии с начала до конца, управляет ходом всех событий, служит связью всем лицам и сценам, расставляет в одну перспективу все отдельные группы и различным краскам дает один общий тон, один кровавый оттенок. Доказывать это значило бы переписать всю трагедию...²²

²¹ Рукою Пушкина. С. 87–88.

²² Европеец. 1832. Ч. 1. С. 111.

Воссоздавая образ Димитрия, Пушкин во многом опирался на агиографию. Так, в сцену «Царская дума» в пересказе патриарха включено описание чуда, непременно элемента житийной литературы:

В вечерний час ко мне пришел однажды
 Простой пастух, уже маститый старец,
 И чудную поведал он мне тайну.
 «В младых летах, сказал он, я ослеп
 И с той поры не знал ни дня, ни ночи
 До старости; напрасно я лечился
 И зелием и тайным нашептанием (...)
 А снилися мне только звуки. Раз
 В глубоком сне, я слышу, детский голос
 Мне говорит: встань, дедушка, поди
 Ты в Углич-град, в собор Преображенья;
 Там помолись ты над моей могилой,
 Бог милостив — и я тебя прощу.
 — но кто же ты? спросил я детский голос.
 — Царевич я Димитрий (...)
 Я тихую молитву сотворил,
 Глаза мои прозрели; я увидел
 И божий свет, и внука, и могилку».
 Вот, государь, что мне поведал старец (VII, 70—71).

Особый интерес Пушкина при его работе над трагедией вызвали и сведения, почерпнутые в «Истории государства Российского» Карамзина, о юродивых Василии Блаженном, Николе Псковском, Иоанне Юродивом, прозванном Большим Колпаком и Водоносцем. Последний из них выведен в одной из самых пронзительных сцен трагедии, где он дает отповедь Борису Годунову: «Нельзя молиться за царя-ирода, Богородица не велит». О значимости этого образа свидетельствует полусушутливое замечание Пушкина в письме к Вяземскому:

Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат! (XIII, 240).

Выше уже упоминалось, что интерес к житийной литературе у Пушкина усилился в 1830-е годы, в то время, когда он все настойчивее обращается к прозе. Нам представляется, что стиль простодушного агиографического повествования своеобразно отразился в предисловии к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина», где описывается жизнь Белкина. Здесь угадывается ряд характерных деталей житийной топики: рождение героя «от честных и благородных родителей», обучение у «деревенского дьячка», черты добродушия и милосердия, житейской непрактичности. Ср., например:

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случилось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая (VIII, 61).

О том, что Пушкин в этом рассказе в действительности опирался на житийный стиль, свидетельствует, как нам кажется, следующее. Как известно, предисловие к «Повестям Белкина» далось Пушкину не сразу — в течение всего лета 1831 года, когда книга проходила цензуру, Плетнев, следивший за изданием, тревожно запрашивал Пушкина, когда же он пришлет предисловие. Вероятно, сперва Пушкин предполагал использовать в качестве такового начало «Истории села Горюхина», где излагалась автобиография Белкина. Но «летописный» стиль²³ этого произведения мало соответствовал общему характеру повестей. В конечном счете Пушкин излагает биографию героя со слов иного лица, ненарадовского помещика. Естественным было в этом случае, отказавшись от «летописного» стиля, обратиться к «житийному». Важно подчеркнуть, что в данном случае мы имеем дело вовсе не с травестийностью, не с паро-

²³ Пародийность такого стиля целила в «Историю русского народа» Н. А. Полевого, в свою очередь пытавшегося дискредитировать «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина.

дией, а скорее со стилизацией, однако чуть ироничной. Влияние летописного стиля на становление повествовательной манеры Пушкина-прозаика уже отмечалось в литературе. «В понимании Пушкина, — отмечал академик В. В. Виноградов, — исторический стиль близок к простой «летописной» записи основных и наиболее характерных событий или к скупым и лаконичным наброскам дневника, хроники, которые являются как бы экстрактом из множества наблюдений, как бы сгущенным отражением широкой картины²⁴».

Очевидно, столь же важны были для него и агиографические жанры.

Агиографическая литература приобретает для Пушкина особое значение в последние годы. В это время в его лирике, по преимуществу медитативной, самоуглубленной, исповедальной, складывается образ лирического героя — странника, пустытника (см., например, стихотворения «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит», «Странник», «Вновь я посетил», «Родрик», «Из Пиндемонти», «Отцы пустытники и жены непорочны», «Когда за городом, задумчив, я брожу»). Именно в это время, как отмечалось выше, он интересуется легендами об Алексие, человеке Божьем. Поэтому и рецензия на «Словарь о святых» в пушкинском «Современнике» была — при всем ее публицистическом назначении в общем контексте третьего тома журнала — еще и закономерным свидетельством неиссякаемого внимания Пушкина к агиографической литературе.

Пушкин обычно представляется в качестве родоначальника новой русской литературы и выразителем послепетровской культуры, что, как показано выше, было отражено и в его собственных набросках о «бедности» древнерусской словесности. Но он, конечно, знал гораздо больше памятников древнерусской письменности, нежели это отмечено в его планах истории русской литературы 1829 и 1834 годов, хотя он не всегда осознавал их в качестве художественных произведений.

²⁴ Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1999. С. 590.

Так он никогда не считал «изящной словесностью» агиографические жанры, совершенно не упоминал их. Это не должно нас удивлять. Даже современный исследователь русской агиографии констатирует:

Жития как церковно-служебные произведения достаточно широко изучались историками церкви; немало посвящено работ житиям как историческим источникам. Но жития прежде всего — произведения древнерусской литературы, а как памятники литературы они изучены менее всего²⁵.

Тем не менее, не осознавая теоретически, Пушкин практически в своем творчестве, как показывают изложенные выше наблюдения, постоянно обращался к традициям древнерусской литературы.

4

Выше отмечалось, что весь период древнерусской литературы Пушкин в теоретических своих работах воспринимал как более или менее однородный, сохранявший свои традиционные формы неизменными на протяжении нескольких веков. Это и заставляло его подчеркивать «бедность» древнерусской словесности.

Однако, как нам представляется, обратившись в последние годы своей жизни к исследованию выдающегося памятника русской культуры — «Слова о полку Игореве», Пушкин впервые ощутил, какие сложные процессы происходили в недрах этой культуры, как с самых первых веков своего существования русская литература была неоднородна и немыслима без своеобразной литературной борьбы, в которой выражался поступательный ход этой литературы, отмеченной в конце XII века высочайшим шедевром.

²⁵ *Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII—XVII вв. Л., 1973. С. 7.*

Несколько упоминаний Пушкиным «Слова о полку Игореве», ряд свидетельств современников об интересе поэта к этому памятнику, маргиналии и глоссы Пушкина на переводах «Слова» Жуковского и Вельтмана, заметки и начало статьи о «Слове», обнаруженные в бумагах Пушкина, породили довольно большую литературу, пик которой падает на вторую половину 1930-х годов (Н. О. Лернер, М. А. Цявловский, Н. К. Козмин, Н. К. Гудзий, Я. И. Ясинский, позже — И. А. Новиков, Ф. Я. Прийма). Проблема изучалась как пушкинистами, так и специалистами по древнерусской литературе и ввиду малочисленности материалов оказалась вскоре исчерпанной. Это, казалось бы, свидетельствует о возможности лишь отдельных уточнений уже сделанных наблюдений и выводов, так как уповать на обнаружение каких-либо новых значительных материалов, свидетельствующих о восприятии Пушкиным выдающегося памятника древнерусской литературы, очевидно, не приходится.

Между тем, как это ни странно, само творчество Пушкина, тот контекст, в котором и следует рассматривать занятия Пушкина «Словом», почти не привлекался к изучению данной проблемы.

И это при том, что в критической литературе существует тенденция, на наш взгляд, неоправданного преувеличения якобы постоянного интереса Пушкина к «Слову о полку Игореве» на протяжении всего его творчества, начиная с лицейских лет. Такой интерес обосновывается путем нехитрой презумпции: Пушкин не мог не интересоваться «Словом». Не находя прямых подтверждений этому тезису, приверженцы такого взгляда идут по пути выявления реминисценций из «Слова» в произведениях Пушкина.

На первый взгляд, подобный метод поисков непреходящего влияния выдающегося памятника древнерусской письменности на творчество Пушкина (пусть даже и без четкого различения прямых и опосредованных заимствований из «Слова») служит углублению наших представлений о художественных исканиях поэта. На самом же деле

он ведет к некоей суммарной, усредненной и нечеткой оценке восприятия Пушкиным «Слова» без дифференциации пушкинских творческих исканий в разные периоды его деятельности. Несомненно, Пушкин с юности был знаком со «Словом», как несомненно и то, что общая волна воздействия древнего памятника на новую русскую литературу с момента его публикации в 1800 году коснулась и Пушкина. Однако в орбиту его эстетических размышлений это произведение попало не сразу. Первое упоминание Пушкиным «Слова» относится лишь к 1829 году, а проходные определения «Слова» в набросках статей как «уединенного памятника в пустыне нашей словесности» — к 1830 и 1834 годам.

В настоящее время выявлено около двух десятков пушкинских толкований отдельных слов и «темных мест» «Слова», почерпнутых им в разных источниках: в песнях, в летописях, в Библии, в словарях и пр. Все они, по видимому, тяготеют к последним месяцам жизни Пушкина, когда он, по сути дела, и приступил вплотную к работе по комментированию «Слова».

Более развернутые заметки по разъяснению отдельных выражений памятника и начало статьи о «Слове» относятся уже к январю 1837 года. В те же дни Пушкин критически изучает переводы Вельтмана (по изданию 1833 года) и Жуковского (по копии), в связи с началом работы над указанной статьей, о чем, несомненно, свидетельствует ряд характерных переключек между маргиналиями и глоссами на переводах, предварительными заметками и собственно текстом начатой статьи. Именно к этим последним месяцам относятся и свидетельства современников об интересе Пушкина к «Слову» (А. И. Тургенева, С. П. Шевырева, И. М. Снегирева, М. А. Коркунова, И. П. Сахарова).

Хронологическая локализация пушкинской систематической работы над «Словом» нам представляется чрезвычайно важной.

Если оценивать пушкинскую статью о «Слове» и материалы к ней как итог проходящего через всю созна-

тельную жизнь поэта увлечения, то они — как это и было сказано Я. И. Ясинским — и впрямь могут показаться дилетантскими разысканиями. Другое дело — если это лишь начало серьезной работы Пушкина, оборванной его гибелью. «В наше время, — замечал в 1836 году Пушкин в рецензии на «Словарь о святых», — главный недостаток, отзывающийся во всех почти ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указывать на плоды долгих изучений и терпеливых разысканий. Что же из того происходит? Наши так называемые *ученые* принуждены заменять существенные достоинства изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною *взглядов*, приноравливанием модных понятий к старым давно известным предметам и пр. Таковые средства (которые в некотором смысле можно назвать шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг, поселяют *дух сомнения и отрицания* в умах незрелых и слабых, и печалят людей истинно ученых и здравомыслящих (XII, 101)».

Первейшей задачей в изучении «Слова», по мнению Пушкина, являлся достоверный перевод его на современный русский язык. По его убеждению, «первый перевод, в котором участвовали люди истинно ученые, все еще остается лучшим. Прочие толкователи наперерыв затмевали неясные выражения своевольными поправками и догадками, ни на чем не основанными». Общие же пушкинские представления о задачах перевода сформулированы в его статье, которая написана одновременно с заметками о «Слове», — «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»». Полезно процитировать некоторые положения этой статьи, для того чтобы представить себе цели, которые ставил перед собой Пушкин, приступая к детальному осмыслению «Слова о полку Игореве»:

От переводчиков стали требовать, более верности, и менее щекотливости и усердия к публике — пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде. Даже мнение, утвержденное веками и принятое всеми, что переводчик должен старать-

ся передавать дух, а не букву, нашло противников и искусные опровержения. Ныне (пример неслыханный!) первый из фр. (анцузских) писателей переводит Мильтона *слово в слово*, и объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, если б только оный был возможен! — Таковое смирение во французском писателе, первом мастере своего дела, должно было сильно изумить поборников *исправительных переводов* и вероятно будет иметь большое влияние на словесность... Но удачен ли новый перевод? (...) Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами. (...) Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к переложению слово в слово, то каким образом язык французский (...) выдержит таковой опыт, особенно в борьбе с языком Мильтона, сего поэта, всё вместе и изысканного и простодушного, темного, запутанного, выразительного, своенравного, и смелого даже до бессмыслия? (XII, 137, 143—144)

Не вызывает сомнения, что все эти соображения имеют прямое отношение к собственным занятиям Пушкина переводом «Слова о полку Игореве». «Исправительный» перевод, уничтожающий «народную одежду» подлинника, и перевод подстрочный кажутся ему двумя крайностями, для него в равной степени неприемлемыми.

О направленности пушкинского перевода «Слова» против современных поэту толкователей памятника сохранилось очень ценное свидетельство А. И. Тургенева в письме к брату от 13 декабря 1836 года:

Я зашел к Пушкину справиться о песне о полку Игореве, коей он приготавливает критическое издание. (...) Он хочет сделать критическое издание сей песни, в роде Шлецерова Нестора, и показать ошибки Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дожидаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не

уморить его критикою, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое проявится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий славянских и языка русского...²⁶

Действительно, в пояснениях А. С. Шишкова, при всех несомненных его заслугах в популяризации «Слова», многое было нелепым и попросту смешным, например:

Как знаменателен здесь глагол «растекался»! Не видим ли мы выходящую из головы Бояна реку мыслей, растекающуюся по всему пространству мира? «Див кличет верху дерева, велит послушати земли незнаеме». (...) Слова сии не могут быть взяты в настоящем их разуме; надлежит, чтоб под оными скрывалось какое-нибудь иносказание – (...) вышесказанные слова должны заключать в себе следующую или подобную мысль: «правительство или верховная власть, пекущаяся о безопасности народной, видя приближение неприятеля, возвещала или слова разглашала, разносилась по всем вышеобъясненным странам, даже до Тьмутараканской земли, клича или созывая обитающие в них народы, дабы они стекались, соединялись с половцами»; «О Бояне, соловью стараго времени! абы ты сии полки ущекотал» — Сиречь: есть ли бы ты воинов сих воспел, прославил. Глагол «щекотать» кажется в старину значил «петь» и «говорить много», и особливо приличествовал соловью, как и ниже сего найдем выражение «щекот соловьиный успе». Впрочем, сие знаменование и поныне в некоторых речах осталось, как например, мы о сороке говорим: «сорока щекочет», то есть кричит, или о болтливой женщине: «какая щекотунья»²⁷.

Это сближение старых значений слов с современными, постоянное распространение попутными замечаниями,

²⁶ См.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.; Л., 1928. С. 278.

²⁷ *Шишков А. С.* Собр. соч. и переводов. Ч. 7. СПб., 1826. С. 42, 53, 47.

ми энергичного языка «Слова» и были для Пушкина приметами «исправительного перевода», нарушающего дух подлинника.

Важно и другое: юмористический эффект подобных толкований привлекал внимание Пушкина к особой стилистической интонации автора «Слова» в его стилизациях под песни Бояна, «соловья старого времени».

Однако точный, передающий и стиль, и дух «Слова» перевод хотя и намечался Пушкиным первоочередной целью в его занятиях памятником, но эта цель отнюдь не исчерпывала его замысла. В исследовательской литературе не был до сих пор поставлен вопрос о жанре пушкинской работы о «Слове». Приведенное выше свидетельство А. И. Тургенева о предполагаемом «критическом издании сей песни, в роде Шлецерова Нестора», казалось бы, полностью проясняет этот вопрос. На самом же деле это определение принадлежит самому А. И. Тургеневу и могло не соответствовать действительному замыслу Пушкина. Среди же заметок Пушкина о «Слове» мы не обнаруживаем ни одной, которая касается собственно исторического содержания памятника. Показательна в этом отношении хотя бы такая деталь. Известно, что в конце 1836 года Пушкин получил от академика Кеппена копию исследования польского ученого Кухорского о Трояне, но в статье о «Слове» Пушкин замечает:

«(Четыре раза упоминается в сей песни о *Трояне* (...) но кто сей *Троян*, догадаться ни по чему не возможно)», говорят первые издатели). (...) Прочие толкователи не последовали скромному примеру: они не хотели оставить без решения то, чего не понимали (XII, 151).

И далее Пушкин скептически упоминает о попытке отождествить Трояна в «Слове» с римским императором, не предлагая взамен никакого своего толкования.

Это свидетельствует о том, что Пушкин собирался написать о «Слове» как о произведении литературном, исследуя не исторические реалии, а дух времени, в нем запечатленный.

И ставя замысел Пушкина в контекст его произведений последнего времени, мы можем с достаточной уверенностью предположить, что он подготавливал произведение особого, характерного для поздней пушкинской прозы документально-публицистического жанра, подобного «Путешествию из Москвы в Петербург», «Вольтеру», «Запискам бригадира Моро-де-Бразе», «Джону Теннеру», уже упоминавшейся выше статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потерянного рая”», начатому в последние месяцы жизни «Описанию земли Камчатской». Все эти произведения хотя и основаны на чужом, обильно цитируемом тексте, вовсе не сводятся к его пересказу, но представляют собою опыт очерково-исторической прозы с яркой психологической характеристикой избранных авторов, с отчетливой публицистической направленностью и личными, собственно пушкинскими размышлениями, отразившимися нередко и во многих предшествующих его произведениях. В сущности, это жанр историко-литературного эссе или, как сейчас принято говорить, интерпретации — жанр по характеру своему беллетристический, с очень сильно выраженной собственной трактовкой чужого произведения.

Достаточно сравнить вступление к «Джону Теннеру», где открыто звучит пушкинский голос, с сохранившимся текстом введения к очерку о «Слове», чтобы убедиться в их подобии. Далее, по-видимому, так же как в «Джоне Теннере» (и других аналогичных пушкинских произведениях, упомянутых выше), должны были следовать комментированные Пушкиным пространные цитаты из памятника, отобранные в соответствии с какой-то задушевной пушкинской мыслью, ей в конечном счете подчиненные.

От этой основной части очерка остались предварительные черновые заметки, охватывающие всего лишь начальную восьмую часть текста памятника. Очевидно, в этих заметках уже намечена некая центральная тема начатого очерка — тот собственно пушкинский аспект, который и должен был в данном случае определить выборочную цитацию и авторский комментарий, где была высвечена

та дорогая Пушкину мысль, что и приковала его внимание к избранному им произведению другого автора.

Тема выявляется, на наш взгляд, достаточно отчетливо. Оригинальным, пушкинским, никогда до него не встречавшимся толкованием является его трактовка отношения автора «Слова» к своему великому предшественнику, «вещему Бояну».

А. С. Шишков считал, что сочинитель «Слова», «хотя и сам обилен мыслями, звучен словами, силен выражениями, однако с особливим благоговением, уничижая себя ако малого писателя перед великим, упоминает о некоем древнем певце или стихотворце Бояне»²⁸. Пушкин пробивается к принципиально иной трактовке. В самой первой строке памятника Пушкин уже видит то противопоставление, которое до него никогда не замечали. «Все занимавшиеся толкованием Слова о полку Игореве, — пишет Пушкин, — перевели: Не прилично ли будет нам, не лучше ли нам, не пристойно ли бы нам, не славно ли, други, братья, братцы, было воспеть древним складом, старым слоном, древним языком трудную, печальную песнь о полку Игореве, Игоря Святославича? Но в древнем славянском языке частица *ли* не всегда дает смысл вопросительный {...}. В другом месте Слова о плку *ли* поставлено также, но все переводчики перевели не вопросом, а утвердительно»²⁹. То же надлежало бы сделать и здесь. / Во-первых, рассмотрим смысл речи: по мнению переводчиков, поэт говорит: Не воспеть ли нам об Игоре по-старому? Начнем же песнь по былинам сего времени (то есть по-новому) — а не по замыслению Боянову (т. е. не по-старому). Явное противоречие! — Если же признаем, что частица *ли* смысла вопросительного не дает, то выдет: Не прилично, братья, начать старым слоном

²⁸ Там же. С. 36.

²⁹ По основательному предположению Ф. Я. Приймы, Пушкин имел здесь в виду фразу: «Не тако ли, рече, река Стутна, худу струю имеа...» и пр. (Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980. С. 172).

печальную песнь об Игоре Святославиче; начаться же песни по былинам сего времени, а не по вымыслам Бояна» (XII, 148).

Это не частное наблюдение Пушкина, а его принципиальное убеждение в том, что автор «Слова» вступал в соперничество с Бояном, которое, по мнению Пушкина, прорывалось в комплиментарных по виду, а на самом деле зачастую иронических по отношению к велеречивому стилю Бояна цитатах из его произведений, а также стилизациях под них³⁰.

Иронию эту Пушкин готов подозревать уже в первом воспроизведении Боянова стиля: «Боян бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашесь мыслию по древу...» и пр. В этом отношении показательным пушкинское толкование старинной поговорки (1825):

Иже не ври же, его же не пригоже. Насмешка над книжным языком: видно, и в старину острились насчет славянских низмов.

Иронию, которая «пробивается сквозь пышную хвалу», Пушкин усматривает и во фразе:

О Бояне, соловью стараго времени, а бы ты сиа пълки ущекоталь, скача, славю, по мыслену древу, летая умомъ подь облаками, сплетая хвалы на всѣ стороны сего времени (...) (XII, 151).

Та же мысль содержится в пушкинском сопоставлении двух пассажей «Слова»:

«Пѣти было пѣсь Игореву, того Олга внуку» etc. Поэт повторяет опять выражения Бояновы — и, обращаясь к Бояну, вопрошает: «или не так ли петь было, вещей Бояне, Велесов внуче?».

³⁰ См.: Смолуцкий В. Г. Вступление в «Слово о полку Игореве» // Тр. отд. древнерусской литературы. Т. 12. М.; Л., 1956. С. 5—9. Иную точку зрения см.: Соколова Л. В. Зачин «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986. С. 65—74.

«Комони ржуть (за Сулою; звенить слава в Киевѣ; трубы трубятъ в Новѣградѣ; стоять стязи в Путивлѣ; Игорь ждет мила) брата Всеволода». Теперь поэт говорит сам от себя не по вымыслу Бояню, по былинам сего времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого времени (XII, 151–152).

Под собственным переводом первой фразы «Слова» Пушкин, между прочим, помечает:

Очень понимаем, почему А. С. Шишков не отступил от того же мнения. Ему, сочинителю Рассужд.(ения) о др.(евнем) и нов.(ом) (слоге), было бы неприятно видеть, что и во время сочинителя *Слова о пл(ку) И(горе)вее* предпочитали былины своего времени старым словесам (XII, 149).

Это замечание переводит пушкинское противопоставление Бояна и автора «Слова» в публицистический план.

В самом деле, на протяжении всей своей творческой деятельности Пушкин сам ратовал за ясный стиль точного описания и живого рассказа. «Д'Аламбер сказал однажды Лагарпу, — замечал Пушкин еще в 1821 году, — не выхваляйте мне Бюфона, [этот человек] пишет — Благороднейшее из всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать лошадь. (...) Но что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? (...) Должно бы сказать рано поутру — а они пишут: Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба — ах как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее. (...) Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат (XI, 18–19)».

Эти давнишние размышления кажутся чуть ли не одновременными с заметками о «Слове». «Это благородное животное...» и пр. у Бюфона и «просто лошадь» стоят сопоставления «Не буря соколы занесе...» и «Комони ржут за Сулою».

Приведем еще несколько аналогичных высказываний Пушкина разных лет:

У нас употребляют прозу как стихотворство: не из необходимости житейской, не для выражения нужной мысли, а токмо для приятного проявления форм (1827) (XI, 60).

В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному. (...) Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность... (1828) (XI, 73).

Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он (Ломоносов. — С. Ф.) свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полу-славенская, полулатинская, сделалась-было необходимостью: к счастью Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова. (...) Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности, вот следы, оставленные Ломоносовым (1833—1834) (XI, 249).

Из этих пушкинских замечаний, перечень которых можно было бы продолжить, становится очевидным, что в благородной простоте он видел качество народности, отсутствующее в велеречивом стиле. Это проясняет смысл противопоставления Бояна автору «Слова».

В вельтмановском переводе «Слова» Пушкин делает поправку в стихе: «Струны во славу князям рокотали» — «хвалу». Тот же смысл — в заметке Пушкина по поводу фразы «Помняшьте бо речь первых времен усобице»:

Ни один из толкователей не перевел сего места удовлетворительно. Дело здесь идет о Бояне; всё это продолжение прежней мысли: Помяная предания о прежних бранях (усобица значит ополчение, брань, а не между-усобие, как перевели некоторые (...)) (XII, 149—150).

Иными словами, Пушкин считает Бояна певцом славословий в честь князей. Автор же «Слова», вероятно, для Пушкина представитель народной поэтической культуры. В этом, по-видимому, смысл последней из заметок Пушкина, которой обрывается его статья о «Слове»:

Г. Вельтман (пишет: *Кметъ. Значит частный начальник, староста.*) Кметъ значит вообще крестьянин, мужик. *Kag gospòda stori krivo, kmeti mòrjo plázhat' shivo*³¹ (XII, 152).

В процессе работы над «Словом о полку Игореве» Пушкин подходит к принципиально новому осмыслению этого произведения. Тогда-то он, по-видимому, и открывает диалогичность³² (как мы бы сейчас сказали) стиля «Слова». Вполне вероятно и то, что взаимоотношения (соперничество) автора «Слова» с «соловьем старого времени» Пушкин не собирался трактовать исключительно в одном ключе — в качестве иронического неприятия:

Не решу, упрекает ли здесь Бояна или хвалит, но, во всяком случае, поэт приводит сие место в пример того, каким образом слагали песни в старину (XII, 149).

Впервые в истории изучения памятника он уловил в «Слове» две стилистические системы, находящиеся в сложном единстве: «трудную (печальную) повесть» и славу (хвалу) князьям. В этом отношении вся центральная часть памятника — «золотое слово Святослава», хотя и «смешено со слезами», но произносится как хвала князьям, т. е. «по замыслению Бояню».

Эта оригинальная пушкинская трактовка памятника заслуживает дальнейшего критического исследования.

³¹ Коль господа чинят несправедливость, крестьяне должны платиться жизнью (словенск.).

³² См.: Лихачев Д. С. Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 1986. С. 9–28.